Когда на закате укажет заря—
не преобразиться, так переодеться,—
глубокие реки впадают в моря,
а люди впадают в глубокое детство.

Что перетекло в деловой календарь,
начислено в столбик, написано в строчку—
как телекартинка двуцветная встарь,
сливается в луч, собирается в точку.

И ты остаёшься один на один
с волною, отзывчивой на непогоду…
Так рыба летучая или дельфин,
взойдя из воды, возвращается в воду.

Но, чуя аортою вечную связь,
гребёшь к небосводу, противясь измору…
Предтечи твои, до крови просолясь,
решились—и всё-таки вышли из моря.

Хочешь не хочешь—ступай за порог:
псу моему выходной ли, рабочий…
Утро холодное. Тёплый парок
овеществляется в пасти собачьей.
Солнце восходит при рыхлой луне—
скоро она до заката растает…
Азия стынет—иначе бы не
ветер её холодел в Казахстане.
Что Kazakhstan? Из такой же земли—
исполу мы олатинились тоже…

Дочери к дальнему морю ушли:
где нарыбалятся, чем подытожат?
Нечего спрашивать, кто разлучил:
сам, от земной перемены немея,
речи иной их не ты ли учил,
странной любви передать не умея?
Вот и не рви на себе волоса—
в них без того не застрянет гребёнка…
Вот и осталось—выгуливать пса
утром и вечером, точно ребёнка.

Поздние яблоки

На деле на яблоневом теле
они бы ещё провисели неделю—
за холод июня теплом сентября
тягучая осень платила не зря.
Зачатые пчёлами или шмелями,
литыми боками они шевелили,
соседу стучали в зелёный висок,
нещедрый копили, а всё-таки сок…

Но этой недели, недолгой на деле,
до первого снега мы не дотерпели,
древесные тонкие шеи крутя
и тем ожидание укоротя.
А яблоня точно крыла подняла
и серое небо на них приняла,
и нам показалось на малость,
что лапами переминалась—
ждала, осыпаемая дождём,
когда мы домой наконец-то пойдём…

Быть может, не мёрзнущее вороньё
зимою баюкают ветки её,
а только что выкормленных скворчат
у дальнего озера Чад.

Для яблонь и женщин одни отпуска,
когда истекли родовые срока.
А если летаешь, как птица,—
не можешь не возвратиться:
не то что до гроба обязан,
а просто землёю повязан.

Сторона бескрайняя—
глушь да белизна…
Нынче Пасха ранняя—
поздняя весна.
Теплоты немножко
в небе да в груди
намаши ладошкою,
Господи…

Когда по дороге ты заговоришь о любви—
судьба переменится, да от пути не убудет.
Всё должное сбудется—только с иными людьми,
а если желаешь с любимыми—будет что будет…

Ногами по суше теперь или вплавь кораблём,
удача попрёт косяком или вылезет боком—
сорвалось летучее слово живым воробьём,
да на сердце выпало неодолимым зароком.

Что сбило его, отчего подломилось крыло?
С налёта ударилось оземь, водой отразилось,
природою и оболочкою преобразилось,
иные желания облаком оболокло?

Живи как получится или прицельно живи,
лозой на ветру или не уклоняясь от ветра,
а силы свои перечти, ожидая ответа,
когда по дороге ты заговорил о любви…

• • •

Поменяла весна времена и цвета—
молодая листва на просвет золотá:
невесомую дымку едва окропил
осторожною прозеленью хлорофилл.

Да не долгую пору она молода,
а покуда черёмуховые холода,
и ладони живой чешуи листовой
над землёю древесною и кустовой
непременно сомкнутся ступенью
между яростным светом и тенью.

Ибо всё в равномерном пути бытия
обращается снова на круги своя,
но—всегда в кулачке зажимая
лоскуток золотистого мая.

• • •

По мольбе твоей или судьбе
на ожесточающем ветру
по тебе, живая, по тебе
руки мои сохнут поутру.

На пути недолгом, налегке
редко перехожем для двоих,
губы мои сохнут вдалеке
от короткой щедрости твоих.

Но опять становится вода
в первородной дымке голубой
влагою телесною, когда
мы соединяемся с тобой.

Лишь глотком, закинутым рывком,
в пересохшей напрочь глубине
горло перехватывает ком
от восторга быть наедине.

• • •

В расплав осенний окуная ноги,
наги, но беззастенчиво легки,
берёзы у далматовской дороги
рябы, как далматинские щенки.
А вдалеке за монотонным лесом,
где в небо утыкается земля,
вода висит завесою белесой,
опущенной из тучи на поля.
И зябкий сгусток ёжится и ноет
в груди от неизбежного дождя…

Но всё, что время выцветшее моет,
оно же укрывает погодя.
И хочется вынашивать и нянчить
в несвойственных глубинах естества
комочек беззащитности щенячьей,
зачатый в ожиданье Покрова.

• • •

Когда Алма-Ату карагачи
сиюминутным золотом омыли,
мы яблоко с тобою преломили
душистое в густеющей ночи.
Глубинами осенней немоты
мы—прежние, но, зрелости согласно,
былого нет у яблока соблазна,
и нет Алма-Аты—есть Алматы.

Как под напором селевой воды,
что движется безмолвно и упёрто,
не только легендарного апорта
не уцелели многие сады.
Но снова темноту и немоту
года переступают осторожно,
когда всё было ясно и возможно—
лишь лёгкая оскомина во рту…

• • •

До настоящего романа
собой, увы, не доходя,
жизнь, точно повесть графомана,
оскальзывается, хотя,
когда, как юноша бездомный,
оказываешься в былом,
открыв бездонный многотомный
картонный или электронный
фотографический альбом,
где, оживая—помяните,
во испытание уму
кровят оборванные нити,
собравшиеся в бахрому,—
от созерцания светлеешь,
как будто заново прочёл,
и ни о чём не сожалеешь,
не забывая ни о чём.

В золотом жерновке на руке перемелется жизнь, не хрустя,—
прохлаждаться не надо, да незачем и в огород торопиться…
Плоть от жилистой плоти устроивших город железа живучих крестьян,
временами отец говорил нам: учите язык—пригодится.

Что он знал о Востоке и Западе, дальше Болгарии не побывав?
Сыновьям на дорогу какие раздумывал верные метки?
В родовом почитании отчества или на собственный разум и нрав
я по юности ранней довольно умел по-немецки.Р

Но живая вода выгибает и сносит затворы лежачих плотин,
глину лижет и камень грызёт после вешней оттайки…
Обе дочери знают английский, а младшая—греческий и латынь,
а учить, получается, следовало китайский.

Да не время метаться, и некуда, и не к лицу,
словно юркие стайки у края земли начинающих рыбок…
И всего-то вдогонку могу я сегодня ответить отцу,
что по-русски пишу, говорю и читаю почти без ошибок.

Свитки Геркуланума

Папирусы из античного Геркуланума, залитого в 79 г. н. э.
лавой Везувия, дожидаются нового читателя две тысячи лет.

Ненасытная меленка времени схрупает всё, что ни попадя ей:
яровое, людское, кофейное пережуёт без оскомины…
Пепел сыпался медленно на черепичные крыши Помпей,
набирался, давил—и стропила ломал, как соломины.
Эта сказка стара, ей довольно и нескольких слов—
остальное давно написал утончённый Брюллов.
А в меня заселился, как неубиваемый вирус,
опалённый дыханием магмы копчёный папирус.

Был соседний посад победней или жить норовил по уму—
то ли помнил о чём, то ли сам докопался до главного…
А иначе, былье и жилье побросав, почему
горожане ушли из оставленного Геркуланума?
Полстолетья спустя, как Христа опустили с креста,
запечённая в трубку египетская береста
что за истину запечатлела, чтоб люди живые
через камень и вечность пошли в кладовые былые?

Кто рубил этот камень, философом был не бог весть—
что ему египтяне с латинянами да греками?
Это люди учёные возятся, силясь насквозь просветить и прочесть
испарённое с древними библиотеками.
Коль не переведутся, тогда по иным временам
счастье быть перечтёнными светит, возможно, и нам,
если новый Везувий, сказав беспощадное Dixi,
не сожрёт наши жёсткие межпозвоночные диски.

Оставленные прошлому не в теме—
хотя бы электронного письма.
Зато их тени пощадило время—
беззубое, но едкое весьма.

И, узелками лет не различая
переплетённых нацело времён,
наедине с тобой не замечаю
течения телесных перемен…

От ветхости людской не зарекайся,
но—таймеры торопятся пускай—
вновь дальних повстречать остерегайся
и ближних далеко не отпускай.

Не дай, Господь, с ума сойти—
до помрачения влюбиться,
как полю, что перекати,
в неё—летящую, как птица.

Не дай отыскивать слова,
давно оставленные втуне,
для оперённого едва
птенца, клюющего с ладони.

И всё-таки благослови
плоды нечаянной любви—
двенадцать стихотворных строчек,
положенные на листочек…

Вызвездило за окнами—
можно ложиться спать…
Между детьми и внуками
есть небольшая падь:
краткое колыхание
на столбовом пути—
перевести дыхание,
душу перевести,
словно через границу,
да не заночевать—
рано ещё страницу
переворачивать…

В лете, погодой пегом,
невдалеке воды
по молодым побегам
лиственницы седы.

Над купиной палимой—
знойный калёный дух…
Это всё тополиный,
лишь тополиный пух.

Пекло—ещё не спелость.
На глубине глотка
песня ещё не спелась
до пустяка.

Да всякий ли шляхтич из вышедших ныне на торный шлях?
Лукавое эхо в Анголу заманит его или в Англию?
Надолго ли наживо выстоят на земляных полях
комментарии наши глубокомысленные к Евангелию?
Не здесь и сейчас, но в иной равнозначный час,
когда отдалится земля обглоданными берегами,
найдётся ли тот, кто положит пускай не на музыку нас—
хотя бы на доску, хребет переломанный оберегая?

Положит, да с перекладиной—крест-накрест или глаголь:
на выбор, мол, рассчитайся на журавель-синица—
пой или насвистывай, гугли или глаголь…
У этой развилки спокойно можно остановиться.
Да всякий себя вопрошает, зачем живём—
от заморозка нутро ни водка не упасёт, ни наглость…
Как временные подпорки небу мы ходим или плывём
на ощупь сквозь морока́ на живой человечий голос.